

АНДРЕЙ
ПЛАТОНОВ

Город Градов
и другие повести



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Русская классика (АСТ)

Андрей Платонов

Город Градов и другие повести

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Платонов А. П.

Город Градов и другие повести / А. П. Платонов —
«Издательство АСТ», — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-183682-5

Советский управленец Иван Федорович Шмаков отправляется в губернский город Градов в пятистах верстах от Москвы, чтобы «врасти в губернские дела и освежить их здоровым смыслом», но погрязший в бессмысленном бюрократизме местный чиновничий аппарат не горит желанием что-либо менять. В данное издание вошли также и другие произведения автора, в том числе незаконченный роман «Счастливая Москва», известные повести «Впрок» и «Епифанские шлюзы», а также шедевры военной прозы – рассказы «Возвращение», «Одухотворенные люди» и «Неодушевленный враг».

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-183682-5

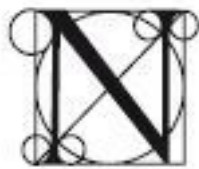
© Платонов А. П.
© Издательство АСТ

Содержание

Город Градов	6
Епифанские шлюзы	25
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Андрей Платонов
Город Градов и другие повести

Серия «Русская классика»



© ООО «Издательство АСТ», 2026

Город Градов

*Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно
сделано.*

Ив. Шаронов, писатель конца XIX века

1

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство, – все эти князья Енгальчевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древлеотчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась советская власть в губгороде, а в уездах – к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий – ветхопещерник, Петр – женоненавистник и Прохор – византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежащие старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые – все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка – так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилами-чиновниками, а в междуцарствие свое – пока им должностей не выходило – занимались чинкой сапог, смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни Градова: слобожане заседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревенских охальников. Поэтому три раза в год – на Троицу, в Николин день и на Крещение – между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: всё будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

– А где же город? – спросит приезжий человек.

– А вот он, город, и есть! – ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки.

На доме том висит вывеска:

«Градовский уисполком».

На краю базарной площади стоят еще несколько домов казенного вечного образца – там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растут вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбивая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может, и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть: все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте и как-нибудь скажутся.

– Может, пройдет десять годов, – говорил председатель Градовского губисполкома, – а у нас рожь начнет расти с оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, куда ушло пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы отпустили пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот – не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполкомом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось: чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным, – чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехнические работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не достояв до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт»

с другой коммуной – «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того, на те же деньги десятниками самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

2

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием – вразить в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестливостью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов – оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутную станцию и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране; каждый ел укромкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жались друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел. За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крыльями, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика:

– А мордвин што?

– А мордвин богатый человек, – говорил старик, – мордвин угостил русского подобрау и честь честью. Только русский говорит мордвину: «Я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову».

– А мордвин ему што?

– А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет – когда его русский к себе в гости позовет. Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату...

– К русскому?

– К русскому, то видно по рассказу. Русский схватил шапку с мордвина – то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» – спрашивает его мордвин. «Места тебе не найду», – говорит русский. «Почет, значит?» – «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. «Пей», – говорит. Мордвин ухватился, думал – влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя», – говорит. «Пей, – говорит русский, – не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважи-

тельный, – пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя. «Не обидь, – говорит, – угощайся, ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя русский?» – спрашивает мордвина жена. «Хорошо, – говорит мордвин, – спасибо, что вода была, а от водки я бы помер – три ведра выпил...»

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то есть косвенное подчинение, Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал:

– Религия должна караться по закону!

– Это через почему ж такое по закону-то? – злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

– А вот почему! – говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников. – Я расскажу все последовательно! Потому что религия есть злоупотребление природой! Поняли? Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле произошла – очень просто...

– А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист, – робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал, – ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

– Ну да, вырастет! – ответил знающий парень. – Все равно – что печка, что солнце...

– И на лежанке можно? – хитрил неизвестный человек.

– Ясно, можно! – подтвердил комсомолец.

– А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист, – хрипло обратился человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню, – правда, что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

– Сурьезное дело! – дал свое заключение о Днепрострое козловский человек. – Только воду в Днепре не удержать!

– Это почему ж такое? – вступился тут Шмаков.

Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за моль тут встряла в разговор?

– А потому, – сказал он, – что вода – дело тяжелое, камень точит и железо скоблит, а советский материал – мягкая вещь!

«Он прав, сволочь! – подумал Шмаков. – У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и недоброкачества жизни. Поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными тормозами.

Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожном поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд:

– Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

– Брось газету! – Газета им требовалась на сигарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал – в чужом городе всякий клочок дорог.

– Градов! Кому до Градова? Первая остановка! – сказал проводник и начал выметать сор. – Насорили, идолы, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно, мое поселение», – подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то что этот пункт был связан рельсами со всем миром – с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана, – никто туда не ездил: не было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ тут жил бестолковый.

3

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел вырабатывать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков», – написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо», – подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч – ставить ему перед своей фамилией «Ив» – Иван или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с инородным человеком; хотя фамилия «Шмаков» – достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела – уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал больной цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

«ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотыч подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«...Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо – это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству – это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть неременная принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расплывшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из Советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства...»

– Гады! – заорал кто-то у окна. – Испотрошу всяку сволочь, всяку баптистскую ересь...

И вдруг голос смиловился и зазвучал милосердно:

– Друг, скажи по-матерному, по-церковнославянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденьш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахинею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотыча увлекалась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе преуика и исправника. Затем он подумал о воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии, – думал Шмаков, – это природа. Всегда в ней что-нибудь случается...

А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее – химически, так сказать!

Не согласятся, – вздохнул Шмаков, – беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благодетельства.

Подумать надо над этим – и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу – в губернское земельное управление, куда он назначен был заведовать подотделом.

Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали.

Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводственной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах

запор смысла и скользкая бесплановая логика, в толчее и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику земуправления.

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью – за полночь.

Утром хозяйка сжалась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях – не говоря про дальние, что в лесистой стороне, – до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! – подумал Иван Федотыч, послушав старуху. – Только живая сила государства – служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении земель потомков некоей Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов Пощенского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в г. Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки, – читал в деле Шмаков, – по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых людей никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Реши это дело, пожалуйста, окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить трояко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предвещая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины, а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушка, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Гору-Горушку считать вольным поселением, по примеру немецкого города Гамбурга, а жителей – транспортными хищниками; земли же надлежит у них изъять и передать в трудовое пользование».

Далее попало заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские известия», которая обнадежила девьедубравцев.

«Пролетарский Илья Пророк.

Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом предполагено испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют посредством наэлектризованного песка».

Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое заключение:

«Ввиду сыпящегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и уведомить просителей».

Остаток трудового дня Шмаков истратил целиком и полностью на заполнение форм учета учетной работы, наслаждаясь графами и терминами государственного точного языка.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим административно-финансовым отделом земельного управления Степаном Ермиловичем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

– Товарищ Бормотов, – обратился Шмаков, – у нас дело стоит: вы почту приказали отправлять два раза в месяц оказиями.

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

– Товарищ Бормотов, – повторил Иван Федотыч, – у меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через неделю чохом...

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова с почтительным и усиленным вниманием.

– Отнеси это в ремесленную управу, – сказал Бормотов человеку. – Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц.

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

– Соня, – сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам. – Соня! Ты оперплан не переписала еще?

– Переписала, Степан Ермилыч! – ответила Соня. – Это операционный план? Ах нет, не переписала!

– Ну вот, ты спроси сначала, а потом отвечай, а то – переписала!

– Вы про операционный спрашиваете, Степан Ермилыч?

– Ну да, не про опереточный! Оперплан и есть оперплан!

– Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

– Вдела и держи там! – ответил Степан Ермилыч.

Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Бормотов прослушал и ответил:

– А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили? – Хорошо! Прочно? – Прочно! А почта ведь там раз в полгода отправлялась, и не чаще! Что теперь мне скажешь? – Бормотов знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков сразу утих от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит ремесленная управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кое о чем, но о чем – неизвестно.

В дверях административно-финансового отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один утлый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой – полный благодетельности жизни от сытой пищи и внутреннего порядка. Первый, тощий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа в руке какой-то комочек. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

– А почему? Ну почему песок? – пытал его тощий.

– А потому, что сыплется, – резонно говорил тот, что поспокойнее. – Потому, что мукой пылит. Ты дунь!

Тощий дунул – и что-то вышло.

– Ну? – спросил утлый человек.

– Что – ну? – сказал плотный. – Сыплется, – значит, песок!

– А ты плюнь, – догадался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

– Ну? – торжественно возгласил тощий. – Помни теперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не рушить равновесия чувств.

– Глина! Мажется. Дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же сел писать доклад начальнику управления – «О необходимости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам управлении, дабы пресечь неявный саботаж».

Но вскоре саботаж явился перед Шмаковым как узаконенное явление. Во вверенном Шмакову подотделе сидело сорок два человека, а работы было на пятерых; тогда Шмаков, испугавшись, донес рапортом кому следовало о необходимости сократить штат на тридцать семь единиц.

Но его вызвали сейчас же в местком и там заявили, что это недопустимо – профсоюз не позволит самодурствовать.

– А чего ж они будут делать? – спросил Шмаков, – им дела у нас нет!

– А пускай копаются, – сказал профсоюзник, – дай им старые архивы листовать, тебе-то што?

– А зачем их листовать? – допытывался Шмаков.

– А чтоб для истории материал в систематическом порядке лежал! – пояснил профработник.

– Верно ведь! – согласился Шмаков и успокоился, но все же донес по начальству, чтобы на душе покойнее было.

– Эх ты, жамка! – сказал впоследствии Шмакову его начальник, – профтрепача послушал, – ты работай, как гепеус, вот где умные люди!

Раз подходит к Шмакову секретарь управления и угощает его рассыпными папиросами.

– Покушайте, Иван Федотович! Новые: пять копеек сорок штук – градовского производства. Под названием «Красный Инок», – вот на мундштучке значится – инвалиды делают!

Шмаков взял папиросу, хотя почти не курил из экономии, только дарственным табаком баловался.

Секретарь приник к Шмакову и пошептал вопрос:

– Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит, и то будто не хватает? Ньюжи верно?

– Нет, Гаврил Гаврилович, – успокоил его Шмаков, – должно быть, меньше. Маца не питательна – еврей любит жирную пищу, а мацу он в наказание ест.

– Вот именно, я ж и говорю, Иван Федотович, а они не верят!

– Кто не верит?

– Да никто: ни Степан Ермилович, ни Петр Петрович, ни Алексей Палыч – никто не верит!

4

А меж тем сквозь время настигла Градов печальная мягкая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей: даже на частной квартире, вдали от начальства, они чувствовали себя служащими государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотыч с удовольствием установил непрерывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников земельного управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке, – эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной натуры. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неустойчивом мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца – в прямой круг делопроизводства не входили.

Однажды в темный вечер, когда капала неурочная вода – был уже декабрь – и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка – по три рубля с души – в честь двадцатипятилетия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему «Советитизация как начало гармонизации вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «Записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно – потому что он был один – горел вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благонравен, – что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

«А все-таки он не спит, – с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч, – значит, долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!»

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел первым. Вдова его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотыч сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, его жена стала бы несчастным человеком. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение – радостное, как сладострастие; он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках своего письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именинник, а как распорядитель.

– Марфуша, – обратился он к Жамовой, – ты бы половичок в передней постелила! Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница, а не кабак!

– Сейчас, Степан Ермилыч, сейчас постелю! А вы проходите – я вам престольное место приготовила. Выше вас чина ведь не будет?

– Да не должно быть, Марфа Егоровна, не должно! – И Степан Ермилович сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости.

Пришли четыре деловода, три счетовода, два заведующих личными столами, два бухгалтеря, три заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской – старинный приятель Бормотова по земской службе – гражданин Родных. Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах, и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак.

Степан Ермилович Бормотов сидел с сознанием чести. Почтительный разговор не выходил из круга служебных тем. Поминались лихие случаи задержки распоряжений губисполкома – и в голове говорившего чувствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие об исчезновении Градовской губернии. Центр вдруг перестал присылать циркуляры. Тогда Бормотов добровольно поехал дешевым поездом в Москву выяснять положение. Денег ему дали мало – не пришли из Москвы кредиты, а отпустили пышек из инвалидной пекарни и выписали удостоверение о командировке. В Москве Бормотов узнал, что Градов хотят передать в область и в областной же город передали поэтому все градовские кредиты.

А областной город отказывался от Градова.

– Город не пролетарский, – говорят, – на черт он нам сдался!

Так и повис Градов без государственного причалу. После своего возвращения Бормотов собрал на своей квартире старожилов и хотел объявить в Градовской губернии автономную национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев.

– Не республика мне была нужна, – объяснял Бормотов, – я не нацменьшой, а непрерывное государственное начало и сохранение преемственности в делопроизводстве.

Шмаков тлел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что-то, что течет, потечет-потечет и – остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие не желали, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола не плохи. А звон в государственной глуши, несомненно, хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поет бесполезные песни.

Незаметно чай кончился, самовар заглох. Марфа осунулась и села в уголок, устав угождать. Тогда за чай заступилась русская горькая.

– Вот, граждане, – сказал счетовод Смачнев, – я откровенно скажу, что одно у меня угощение – водка!.. Ничто меня не берет – ни музыка, ни пение, ни вера, – а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет... Ничего духовного я не признаю, то – буржуазный обман...

Смачнев, несомненно, был пессимист и, в общем и целом, перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

– Граждане! Служил я в разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть секретарей и двенадцать начальников земуправления. Одних управлениями ГИКа при мне сменилось десять человек! А чиновников особых поручений, – как их личных секретарей, председателей, – целых тридцать штук прошло... Я страдалец, друзья, душа моя горька, и ничто ее не растрогает... Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить глубокую дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставлял меня сыскать для такого дела. А третий всё автомобили покупал, для того чтобы подходящую систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, установленный существом дела! И более того – ремесленная управа, то есть губпроф-

совет, однажды исключила меня из союза рабземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов. Но, однако, членом союза я остался – иначе и быть не могло! Ремесленной управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство – без меня ему бы делать нечего было!

Бормотов хлебнул пивца для голоса, оглядел подведомственное собрание и спросил:

– А? Не слышу?

Собрание молчало, истребляя корм.

– Ваня! – обратился Бормотов к человеку, мешавшему пиво с водкой. – Ваня! Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий народ мимо шляется... Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам скажу: секретарь – это архиерей, а губком – епархия! Верно ведь? И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание – ко всеобщей – попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будет, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? Я! Кто контрольную палату – РКИ, скажем, или казначейство – губфо наше – на ноги поставил и людей там делом занял? Кто? А кто всякие карточки, НОТы и прочую антисанитарию истребил в канцеляриях? Ну, кто?..

– Без Бормотова, друзья, – сказал Степан Ермилович со слезами на глазах, – не было бы в Градове учреждений и канцелярий, не уцелела бы советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить! Я первый, кто сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи.

Бормотов умиленно подождал и закончил веско:

– Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведовать охраной материнства и младенчества своих машинисток или опекать лень деловодов!..

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, уставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобрением и питалось колбасой, сдерживая ею стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, в круговую и в общем порядке, оттого и настроение участников ползло вверх не скачками, а прочно, по гармонической кривой, как на диаграмме.

Наконец встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песню о диком кургане. Счетоводство – нация артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство – пение, а изредка – скрипку или гитару. Менее благородный инструмент счетоводы не терпели.

За Пеховым, так же молча и без предупреждения, встал бухгалтер Десущий и пропел какой-то отрывок из какой-то оперы, какой – никто не понял. Десущий славился своей корректностью и культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Наконец, приподнялся и постучал вилок о необходимости молчания заведующий отделом землеустройства Рванников.

– Любимые братья в революции! – начал раздобревший от горькой Рванников. – Что привело вас сюда, не щадя ночи? Что собрало нас, не сожалея симпатий? Он – Степан Ермилович Бормотов – слава и административный мозг нашего учреждения, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей губернии! И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции! Вот действительно человек дореволюционного качества!

– Граждане советские служащие! – проревел в заключение Рванников. – Приглашаю вас выпить за двадцатипятилетие Степана Ермиловича Бормотова, истинного зиждителя территории нашей губернии, еще подлежащей быть устроенной такими людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову.

Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал – этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честолюбие.

Тогда не выдержал Шмаков и, встав на стул, произнес животрепещущую речь – длинную цитату из своих «Записок государственного человека»:

– Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

– Разрешаем! – сказала коллективно собрание. – Говори, Шмаков! Только режь экономию: кратко и не голословно, а по кровному существу!

– Граждане, – обнаглел Шмаков, – сейчас идет так называемая война с бюрократами. А кто такой Степан Ермилович Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы Советскому государству и часа – к этому я дошел долгою мыслью... Кроме того... – (Шмаков начал путаться, голова его сразу вся выпотрошилась – куда что девалось?) – Кроме того, дорогие соратники...

– Мы не ратники, – прогудел кто-то, – мы рыцари!

– Рыцари умственного поля! – схватил лозунг Шмаков. – Я вам сейчас открою тайну нашего века!

– Ну-ну! – одобрило собрание. – Открой его, черта!

– А вот сейчас, – обрадовался Шмаков. – Кто мы такие? Мы за-ме-ст-и-те-л-и пролетариев! Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал маргарин: вкусен, а не питателен! Чувствуете, граждане?... Поэтому-то так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый бюрократ есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира.

Шмаков сел и достойно выпил пива – среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев... Его заело; он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный – кандидат ВКП; но такое состояние Обрубаева службе не помогало, он был и остался делопроизводителем с окладом в двадцать восемь рублей ежемесячно, по шестому разряду тарифной сетки при соотношении 1:8.

– Уважаемые товарищи и сослуживцы! – сказал Обрубаев, доев что-то. – Я не понимаю ни товарища Бормотова, ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо! Налицо определенная директива ЦКК – борьба с бюрократизмом. Налицо – наименования советских учреждений девятилетней давности. А тут говорят, что бюрократ – как его? – зодчий и вроде кормилец. Тут говорят, что губком – епархия, что губпрофсовет – ремесленная управа и так далее. Что это такое? Это перегиб палки, констатирую я. Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго. И вообще в целом я высказываю свое особое мнение по затронутым предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова. Я кончил.

– Закон-с, товарищ Обрубаев! – сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов. – Закон-с! Уничтожьте бюрократизм – станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона. Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев, закон-с!

– А если я губкому сообщу, товарищ Бормотов, или в РКИ? – мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросу «Пушка».

– А где у вас документики, товарищ Обрубаев? – спросил Бормотов. – Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь, Соня, ничего не записывали? – обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особо чтимой в земуправлении.

– Нет, Степан Ермилыч, – я не записывала; вы ничего не сказали мне, а то бы я записала, – ответила хмельная, блаженная Соня.

– Вот-с, товарищ Обрубаев, – мудро и спокойно улыбнулся Бормотов. – Нет документа, и нет, стало быть, самого факта! А вы говорите – борьба с бюрократизмом! А был бы протокольник, вы бы нас укатали в какую-нибудь гелею или рекаю! Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с!

– А живые свидетели! – воскликнул зачумленный Обрубаев.

– Свидетели пьяные, товарищ Обрубаев. Во-первых, а во-вторых, они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли, и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы, к тому же мелкобуржуазной, – попытаю я вас? А?! Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет... Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева, займись чистописанием... Десущий, крикни что-нибудь подушевной.

Десущий сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы золотой. Затем делопроизводитель Мышаев взял балалайку: я, говорит, хоть и кустарь в искусстве, но побрякаю! И он быстро залепетал пальцами, выбивая лихой такт веселящегося тела.

Бормотов прикинулся благодушным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдарился бессмысленно плясать, насилуя свои мученические ноги и веселя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности, и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то соленое.

5

А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлеба.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлениям Градовского губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои непрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника, по прозвищу Чалый. В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно, а именно:

«Явиться на переучет в терокруг – моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

«В 7 часов перевыборы горсовета – кандидат Махин, выдвинут ячейкой, голосовать единогласно».

«Сходить в ком. отд. – отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня...»

«Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора, – штраф, см. постановление ГИК».

«Собрание жилтоварищества о бронировании сарая под нужник».

«Протестовать против Чемберлена, – в случае чего стать как один под ружье».

«Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отступником».

«Именины супруги сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

«Узнать у Марфы Ильиничны, как варить малиновый узвар».

«Справиться в загсе, как переменить прозвище Чалый на официальную фамилию Благовещенский, а также имя Фрол на Теодор».

«Переморить клопов и проверить лицевой счет жены».

«Суббота – открыто заявить столоначальнику, что иду ко всенощной, в Бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы».

«Попросить у сослуживцев лампадного масла. Нигде нет, и все вышло. Будто для смазки будильника».

«Отложить 366-ю бутылку для вишневой настойки. Этот год високосный».

«Сушить сухари впрок – весной будет с кем-то война».

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства – осталось 2 дня».

Каждый день был занят.

Не в первый раз и не во второй, а в более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается – она заменилась государственной и общепольной деятельностью. Государство стало душой. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

– А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии точный план строительства?

– Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено: по десяти в год будем строить, затем-с двадцать штук мясохладобоев и пятнадцать фабрик валяной обуви... А сверх того водяной канал в земле до Каспийского моря рыть будем, чтобы персидским купцам повадно стало торговать с градовскими госорганами.

– Вон оно как! – дал заключение Шмаков. – Курс значительный! Ну, а денег сколько же вам нужно на эти солидные мероприятия?

– Денег надо множество, – сообщил Чалый второстепенным тоном. – Того не менее, как миллиарда три, сиречь – по триста миллионов в год.

– Ого, – сказал Шмаков, – сумма почтительная! А кто же даст вам эти деньги?

– Главное – план! – ответил Чалый. – А уж по плану деньги дадут...

– Это верно! – согласился Шмаков.

Вопрос получил надлежащее уточнение.

6

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая: все шло в общем порядке и по закону.

Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодушным, как у актера в забвенной игре. Труд его жизни – «Записки государственного человека» – подбивался к концу. Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по Республике, над Градовом ночью солнце не светило, зато отсвечивало на чужих звездах.

Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии».

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«...Стоит ли, – читал он середину, – измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва. Не стоит!

И тому пример: в Градове пять лет тому назад, и двадцать лет обратно, было всего две пишущие машинки (обе системы «Ройаль», то есть король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы.

Но увеличился ли от этого социальный прок? – Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится

от переусердия, писец его начинает зачинивать; сам зачинивает, а сам на часы смотрит, – глядь, время уже истекло, и пора идти в собственный деревянный домик, где его ждала как-никак пища и уют порядка, высшим образом обеспеченный государственным строем.

И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все поспевало.

А теперь что? Барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение...

Да и то видно, как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка. А что, если лишнего человека не заводить! Может, и бумаге завестись будет неоткуда?..»

Тут Иван Федотыч вздохнул и задумался.

Не пора ли ему отправиться в глухой скит, чтобы дальше не скорбеть над болящим миром? Но так будет бессовестно.

Хотя оправданием такого поступка может послужить то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует. А если бы и был учрежден и имел устав и удостоверение, то и этим документам верить нельзя, так как они выдаются на основании заявления, а заявление подписывается «подателем сего», а какая может быть вера последнему? Кто удостоверит самого «подателя», прежде чем он подаст заявление о себе?

Почувствовав изжогу в желудке и отчаяние в сердце, Иван Федотыч сходил на кухню попить водицы и посмотреть, кто там пищит все время.

Возвратившись, он снова принялся за чтение, трепеща всеми чувствами.

«...Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть?

Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что, значит, дело идет. А когда мне заявили, что построенные под моим руководством водоудержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась.

А никакая земля воды не держит, тому доказательство – явление оврагов...»

После этого Шмаков успокоился и уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

«Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежаще все факты природы? Того документально нет! Не есть ли сам закон или другое присутственное установление – нарушение живого тела вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?»

Эта преступная мысль, собственно, разбудила Ивана Федотовича.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро. В Градове топились печки, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резаки в пекарнях его резали и метрически взвешивали, мудря на граммах: никто из них не верил, что грамм лучше фунта, знали только, что он легче.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.

7

Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

– Захарий! Вставай, садись за свой престол!

Престол – круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сидения, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

– Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет... На собрания я не хожу и ничего не член!

– Ну, будя, будя тебе, Захарий, – говорила ему жена. – Будя бурчать, садись чай пить. Член! Обдумал тоже, член!

После чая Захар садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

– Иван Федотыч, вашей обузе восьмой год идет, и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, а сапоги все живут... Кустарник лесом стал, революция прошла, может, и звезды какие потухли, а сапоги все живут... Это непостижимо!..

Иван Федотыч ему отвечал:

– В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствует, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека.

– А по мне, – говорит Захар, – бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!

Иван Федотыч убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью. На свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение, как не мещанство, опороченное Октябрьской революцией?

– Порядок – дело чинное, – говорит Захар. – Да уж дюже землю назлили, Иван Федотыч! В порядок ее теперь добром не приведешь, – опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотыча Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого – плетень, а житель – курица.

8

Через три месяца для всего государственного населения Градова настали боевые дни. Центр решил четыре губернии, как раз и Градовскую, слить в одну область.

И заспорили четыре губернских города, кому приличествует быть областным.

Особенно лютовал в этом деле Градов.

Он имел четыре тысячи советских служащих, да безработных имелось две тысячи восемьсот тридцать семь человек; только область могла поглотить этот писчий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИКа Скобкин, зампред губплана Наших и другие заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршевки из усадьбы гражданина Моева.

Канал тот учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей.

О канале губплан написал три тома и послал их в центр, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан сугубой мощности, с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром – и никакой иной населенный пункт.

Тов. Сысоев распорядился заказать штампы и вывески с наименованиями Градовского облисполкома и отдал приказ называть себя впредь предоблисполкома.

Когда никто из служащих не сбивался с области на губернию в отношениях и устных словах, тов. Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказывался на глазах:

– Область у нас, братец! А? Почти республика! А Градов-то – почти столица европейского веса! А что такое губерния? Контрреволюционная царская ячейка, и больше ничего!

Началась беспрецедентная война служащих. Соседние города – претенденты на областной престол – не отставали от градовцев в должном усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотыч Шмаков написал на четырехстах страницах среднего формата проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной области; за соответствующими подписями он был отослан в центр.

Бормотов Степан Ермилович подошел к делу исподволь. Он предложил учредить такой облисполком, чтобы он собирался на сессии по очереди во всех бывших губгородах и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это, конечно, не согласится, но спросит, кто это изобрел. И когда станет известным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова, Москва улыбнется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так раздоказал свою мысль Бормотов товарищу Сысоеву, председателю ГИК. Тот подумал и сказал:

– Да, это орудие высшего психологического увещания, но теперь нам всякое дерьмо тоже! – и подписал доклад Бормотова для следования его в Москву.

Много дел наделали градовцы, доказывая свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал общей болью в теле, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове – областном центре.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти губгородов. Букв в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии¹.

Сапожник Захарий Палыч умер, не дождавшись области; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту.

Бормотов же был уволен старшим инспектором Наркомата РКИ за волокиту и чах дома, заведя частную канцелярию по выработке форм учета деятельности госорганов; в этой канцелярии он служил один, и притом без жалованья и без охраны труда.

Наконец, через три года после начала областной войны, пришло постановление Москвы:

«Организовать Верхне-Донскую земледельческую область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными центрами учредить такие-то пункты. Градов-город, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Малые Вершины».

Что же случилось потом в Градове? Ничего особенного не вышло, – только дураки в расход пошли. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Перед смертью он служил в сельсовете уполномоченным по грунтовым дорогам. Бормотов жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался губисполком. Теперь на том доме висит вывеска «Градовский сельсовет».

¹ Но можно ее и не писать, так как градовцам читать ее некогда, а прочим – неинтересно.

Но Бормотов не верит глазам своим – тем самым глазам, которые некогда были носителями неуклонного государственного взора.

Епифанские шлюзы

М. А. Кашишиевой

1

«Сколь разумны чудеса природы, дорогой брат мой Бертран! Сколь обильна сокровенность пространств, то непостижно даже самому могучему разумению и нечувственно самому благородному сердцу! Зришь ли ты, хотя бы умозрительно, местожительство своего брата в глубине Азийского континента? Ведомо мне, того ты не умопостигаешь. Ведомо мне, что твои взоры очарованы многошумной Еуропой и многолюдством родного моего Ньюкестля, где мореплавателей всегда изрядно и есть чем утешиться образованному взору.

Тем усерднее средоточится скорбь во мне по родине, тем явственней свербит во мне тоска пустынножительства.

Россы мягки нравом, послушны и терпеливы в долгих и тяжких трудах, но дики и мрачны в невежестве своем. Уста мои срослись от безмолвия просвещенной речи. Токмо условные сигналы десятским я подаю на сооружениях своих, а они команду рабочим громко говорят.

Натура в сих местах обильна: корабельные леса все реки в уют одели, да и равнины почистай ими сплошь укрыты. Алчный зверь наравне с человеком себе жизнь промышляет, и сельские россы великое беспокойство от них держат.

Однако зерна и говядины здесь вдосталь, и обильное питание утучнение мне учинило, несмотря на мою душевную скорбь об Ньюкестле.

Это письмо не столь подробно, как предыдущее. Купцы, отправляющиеся в Азов, Кафу и Константинополь, уже починили свои корабли и готовятся к отлучке. С ними я и посылаю эту графическую посылку, дабы она скорее достала Ньюкестля. А негоцианты спешат, ибо Танаид² может усохнуть и тогда не поднимет грузные корабли. А просьба моя невелика, и тебя с такого дела станет.

Царь Петер весьма могучий человек, хотя и разбродный и шумный понапрасну. Его разумение подобно его стране: потаенно обильностью, но дико лесной и зверной очевидностью.

Однако к иноземным корабельщикам он целокупно благосклонен и яростен на щедрость им.

На устье реки Воронеж построен мной двухкамерный шлюз с перемычкой, что дало помогу починкам кораблей на суше, не причиняя им большой ломки. Устроил я также большую перемычку и шлюз с воротами, придав ему размеры, достаточные для пропуска воды. Потом устроил другой шлюз с двумя большими воротами, через которые могли бы проходить большие корабли так, что их можно бы запираť во всякое время в пространстве, огражденном перемычкой, и спускать из него воду, когда корабли войдут в него.

И в той работе прошло шестнадцать месяцев. А с тем пришла другая работа. Царь Петер остался доволен трудами моими и приказал строить другой шлюз, выше, дабы сделать реку Воронеж судоходною до самого города для кораблей в восемьдесят пушек. И эту тягость я снес в десять месяцев, и ничего с сооружениями моими не станется, пока свет стоит. Хотя и слаб грунт в месте шлюза и били могучие ключи. Немецкие помпы стали слабосильны от ключей, и шесть недель стояла работа от обильности тех ключей. Тогда мы изготовили машину, коя

² Дон.

двенадцать бочек воды в минуту истребляла и работала без утиха восемь месяцев, и тогда мы посуху в глубь котлована пошли.

После столь понудных трудов Петер поцеловал меня и вручил тысячу рублей серебром, что немаловажные деньги. Еще сказал мне царь, что и Леонардо да Винчи, изобретатель шлюзов, не устроил бы лучше.

А сурьезность моей мысли в том, что я хочу тебя, любимый мой Бертран, позвать в Россию. Здесь весьма к инженерам щедры, а Петер большой затейщик на инженерные дела. Самолучно я услышал от него, что есть нужда в устройстве канала меж Доном и Окою, могучими туземными реками.

Царь желает создать сплошной водный тракт меж Балтикой и Черным и Каспийским морями, дабы превозмочь обширные пространства континента в Индию, в Средиземные царства и в Еуропу. Сие зело задумано царем. А догадку к тому подает торговля и купецкое сословие, кое все почитай промышляет в Москве и смежных городах; да и богатства страны расположение имеют в глубине континента, откель нету выхода, кроме как сплотить каналами великие реки и плавать по ним сплошь от персов до Санкт-Петербурга и от Афин до Москвы, а также под Урал, на Ладогу, в калмыцкие степи и далее.

Но туго царю Петеру надобны инженеры для столького дела. Ведь канал меж Доном и Окой немалое дело, и тут потребно усердие большое и пуще знание.

Вот я и обещал Петеру-царю, что позову из Ньюкестля брата Бертрана, а сам устал, да и невесту я люблю и соскучился. Четыре года в дикарях живу, и сердце ссохлось, и разум тухнет.

Напиши против сего писания твое решение по такому случаю, а я даю тебе совет, чтоб ехать. Трудно тебе будет, но через пять лет поедешь в Ньюкестль в избытке и кончишь жизнь на родине в покое и достатке. Для сего не скорбно потрудиться.

Передай мою любовь и тоску невесте моей Анне, а через малую длительность я вернусь. Скажи ей, что я уже питаюсь только кровоточием своего сердца по ней, и пускай она дожидется меня. А затем прощай меня и глянь ласково на милое море, на веселый Ньюкестль и на всю родимую Англию.

*Твой брат и друг, инженер Вильям Перри, 1708 лета,
осьмого августа».*

2

Весною 1709 года в первую навигацию в Санкт-Петербург приплыл Бертран Перри.

Путешествие из Ньюкестля он совершил на старом судне «Мери», много раз выдавшем и австралийские и южноафриканские порты.

Капитан Сутерлэнд пожал Перри руку и пожелал доброго пути в страшную страну и скорого возвращения к родному очагу. Бертран его поблагодарил и ступил на землю – в чуждый город, в обширную страну, где его ожидала трудная работа, одиночество и, быть может, ранняя гибель.

Бертрану шел тридцать четвертый год, но угрюмое, скорбное лицо и седые виски делали его сорокапятiletним.

В порту Бертрана встретили посол русского государя и резидент³ английского короля.

Сказав друг другу скучные слова, они расстались: государев посланец пошел домой есть гречневую кашу, английский резидент – к себе в бюро, а Бертран – в отведенный ему покой близ морского цейхгауза.

³ Консул.

В покое было чисто, пусто, укромно, но тоскливо от тишины и уютности. В венецианское окно бился пустынный морской ветер, и прохлада от окна еще пуще говорила Бертрану об одиночестве.

На прочном и низком столе лежал пакет за печатями.

Бертран вскрыл его и прочитал:

«По повелению государя и самодержца всероссийского, Наук-Коллегия любезно просит аглицкого морского инженера Бертрана Рамсея Перри пожаловать в Наук-Коллегию – в водно-канальное установление, что по Обводному проспекту помещение особое имеет.

Государь имеет самоличное наблюдение за движением прожекта по коммутации рек Дона с Окою – через Иван-озеро, реку Шать и реку Упу – посему надлежит в прожекторском труде поспешать.

А с тем и Вам следовало быть в Наук-Коллегии наспех, однако допустив себе отдых после морского перехода, сколь с чувствами и всей телесной физикой мирно станется.

По приказу Президента

*Главный Уставщик и Юриспрудент Наук-Коллегии —
Генрих Вортман».*

Бертран лег с письмом на широкий немецкий диван и нечаянно заснул.

Проснулся он от бури, тревожно гремевшей в окне. На улице, в мраке и безлюдье, беспокойно падал влажный густой снег. Бертран зажег лампу и сел к столу насупротив жуткого окна. Но делать было нечего, и он задумался.

Прошло длинное время, и земля давно встретила медленную ночь. Иногда Бертран забывался и, резко оборачиваясь, ожидал встретить родную комнату в Ньюкестле, а за окном – ландшафт теплой, людной гавани и смутную полоску Европы на горизонте.

Но ветер, ночь и снег на улице, молчание и прохлада в покое указывали Бертрану на иную широту положения его жилища.

И то, от чего он так долго отнекивался в своем сознании, вмиг застлало его фантазию.

Мери Карборунд, его двадцатилетняя невеста, сейчас, наверно, ходит по зеленым улицам Ньюкестля и носит в своей блузе сиреневую ветку. Быть может, другой ее водит под руку и шепчет убедительно про лживую любовь – то останется Бертрану навеки неизвестным. Он две недели плыл сюда, а что случиться может в этот срок в фантастическом, безумном сердце Мери?

И разве может женщина ждать мужа пять или десять лет, растя в себе любовь к невидимому образу? Едва ли так. Тогда давно весь мир уже был бы благороден.

А ежели б в тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел хоть на луну!

Бертран насыпал трубку индийским табаком.

«Однако Мери была права! На что ей нужен муж-негоциант или простой моряк? Она любезна мне и умница большая...»

Мысли Бертрана шли стремительно, но чередуясь и соблюдая ясный такт.

«Неукоснимо ты права, маленькая Мери... Я помню даже то, как ты травой пахла. Я помню, ты сказала: мне нужен муж, как странник Искандер, как мчащийся Тамерлан или неукротимый Атила. А если и моряк, то как Америго Веспуччи... Ты знаешь много и мудрица, Мери!.. Ты истинно права: если муж тебе дороже жизни, то пускай он будет интересней и редкостней ее! Иначе ты заскучаешь, и несчастье тебя погубит».

Бертран неистово сплюнул табачную жвачку и сказал:

– Да, Мери, слишком ты остра на ранний разум! И я, пожалуй, сам такой жены не стою. Зато как хорошо ласкать такую резвую головку! То мне отрада, что под косой жены живет

горячий мозг!.. Но еще посмотрим!.. Затем я и приехал в сию грустнейшую Пальмиру! Послание Вильяма не причастно к такой судьбе, но оно сердечному решению помогло...

Бертран очоленел и стал собираться спать. Пока он воображал Мери и умственно беседовал с ней, над Санкт-Петербургом успела рассвирепеть выюга, и, окорачиваясь у зданий, она студила покои.

Завернувшись в одеяло, укрывшись сверху морской шинелью из чертового вечного сукна, Бертран дремал, и тонкая живая печаль, не переставая, не слушаясь разума, струилась по всему его сухому сильному телу.

На улице раздался странный резкий звук, будто корабль треснул по всей обшивке от удара льда; Бертран открыл глаза, прислушался, но мысль его отвлеклась от страдания, и он уснул, не опомнившись.

3

На другой день в Наук-Коллегии Бертран знакомился с замыслом Петра. Прожект был только начат.

Задание царя сводилось к тому, чтобы создать сплошной судовой ход меж Доном и Окою, а через то – всего придонского края с Москвою и волжскими провинциями. Для сего требовалось произвести большие шлюзовые и канальные работы, к прожектерству которых и был призван Бертран из Британии.

Следующая неделя ушла у Бертрانا на знакомство с изыскательскими документами, по которым следовало прожектировать работы. Документы оказались добропорядочными и составлены знающими людьми: французским инженером генерал-майором Трузсоном и польским техником капитаном Цицкевским.

Бертран был доволен, ибо добрые изыскания делали способным скорое начатие строительных работ. Тайная дума Бертрانا хоронилась в том предмете, что он очаровался Петром, еще будучи в Ньюкестле, и хотел стать его соучастником в цивилизации дикой и таинственной страны. А тогда бы и Мери восхотела его мужем своим иметь.

Искандер завоевывал, Веспуччи открывал, а теперь наступил век построек – окровавленного воина и усталого путешественника сменил умный инженер.

Трудился Бертран тяжело, но счастливо – горе его разлуки с невестой в работе припотухало.

Жил он в тех же покоях; адмиралтейских и штатских ассамблей не посещал и знакомств с дамами и их мужьями чуждался, хотя некоторые светские женщины и искали общества с одиноким англичанином. Бертран вел работу, как корабль, – осторожно, здравомысленно и скоро, избегая феоретических мелей и перекатов в своих планшетах.

К началу июля прожект был исполнен и планы начисто переписаны. Все документы были доложены царю, который их одобрил, а Бертрану приказал выдать награду в тысячу пятьсот рублей серебром и впредь жалованье учредить по тысяче рублей в каждый месяц и назначить главным мастером и строителем всех шлюзов и каналов, что Дон с Окой соединить должны.

В тот же час Петр отдал приказы наместникам и воеводам, по провинциям которых шлюзы и каналы строиться будут, дабы они оказали полное воспособление главному инженеру – всем, чего он ни потребует. Бертрану же были даны права генерала, и соподчинение он имел только царю и главнокомандующему.

После официальной беседы Петр встал и имел к Бертрану речь:

– Мастер Перри! Я знаю твоего брата Вильяма, тот завидный речной корабельщик и на славу водяную силу братать может искусными устройствами. А тебе, не в пример ему, поручается зело умный труд, коим мы навеки удумали главнейшие реки империи нашей в одно водяное тело сплотить и тем великую помощь оказать мирной торговле, да и всякому

делу военному. Через оные работы крепко решено нами в сношение с Древлеазийскими царствами сквозь Волгу и Каспий войти и весь свет с образованной Европой, поелику возможно, обручить. Да и самим через ту всесветную торговлишку малость попитаться, а на иноземном мастерстве руку народа набить.

Через то я поручаю тебе к работам приступить немедля – судовому ходу тому быть!

А что сопротивление тебе будут чинить, про то доноси мне гонцами – на живую и скорую расправу. Вот моя рука – тебе порука! Держи начало крепко, труд ведай мудро – благодарить я могу, умею и сечь нерадетелей государева добра и супротивщиков царской воли!

Тут Петр с быстротой, незаконной в его массивном теле, подошел к Бертрану и тряхнул его руку.

Затем Петр повернулся и ушел в свои покои, прохаркиваясь и тяжело дыша на ходу.

Речь царя Бертрану перевели, и она ему понравилась.

Проект Бертрана Перри состоял в следующих частях: построить тридцать три шлюза из дикого и известкового камня; прорыть соединительный канал от деревни Любовки на реке Шати до деревни Бобриков на Дону длиною двадцать три версты; реку Дон прочистить и углубить для судового хода от деревни Бобриков по деревни Гай, по длине в сто десять верст; кроме того, Иван-озеро, откуда Дон течет, а также весь канал – валом и земляными дамбами окружить и заулочить.

Всего, стало быть, требовалось устроить двести двадцать пять верст судового пути, один конец которого был в Оке, а другой внедрялся стадеятиверстным каналом в Дон. Ширину каналу следовало придать двенадцать сажен, а глубину – два аршина.

Строительное управление предусматривалось Бертраном в городе Епифани, в Тульской провинции, ибо в том городе сходилась середина будущих работ.

Вместе с Бертраном должны были ехать еще пять немецких инженеров и десять писцов из Административного приказа.

День отбытия пал на 18 июля. В тот день к десяти часам утра к покоям Бертрана должны подать дорожные кареты для следования в глухой и терпеливый путь, держа маршрут на неприметный пункт – Епифань.

4

Покуда векует на свете душа, потуда она и бедует.

Собравшись для изрядной еды, пять немцев и Перри понадеялись зарядиться пищей на сутки.

И действительно, животы они набили круто, готовясь для долгого созерцания тогдашних немощных русских пространств.

Уже Перри в дорожный рундучок пачки с табаком укладывал – последнее дело его перед всякой дорогой. Уже немцы письма своим семьям кончали, и младший из них, Карл Берген, вдруг разрыдался от жмущей сердце, неудержимой тоски по молодой, любимой еще жене.

И тут затряслась дверь от резкого стука казенной руки: так мог стучать посланный либо арестовать, либо известить о милости бешеного царя.

Но то был гонец из Почт-приказа.

Он попросил указать ему Бертрана Перри, аглицкого капитан-инженера. И пять немецких рук, в родинках и веснушках, указали ему на англичанина.

Гонец нелепо выбросил вперед ногу и почтительно подал Перри некий пакет за пятью печатями.

– Сударь, соизвольте приять посыл из аглицкой державы!

Перри отошел от немцев к окну и вскрыл пакет:

«Ньюкестль, июня 28.

Мой славный Бертран! Ты не ждешь этой вести. Мне трудно тебя огорчить; наверно, любовь к тебе меня еще не оставила. Но уже новое чувство жжет меня. И жалкий разум мой напряжен, чтобы поймать твой милый образ, который так скорбно обожало мое сердце.

Но ты наивен и жесток – ради наживы золота ты уплыл в дальнюю землю; ради дикой славы ты погубил мою любовь и мою ждущую нежности молодость. Я женщина, я слаба без тебя, как веточка, и отдала свою жизнь другому.

Ты помнишь ли, мой славный Берт, Томаса Рейса? Вот он стал моим мужем. Ты огорчен, но признайся, что он очень славный и такой преданный мне! Некогда я отказала ему и предпочла тебя. Но ты уехал, и он долго утешал меня в моем ужасе и в моей тоскливой любви по тебе.

Не печалься, Берт! Мне так тебя жалко! Ты думал, и вправду мне нужен был мужем Александр Македонский? Нет, мне нужен верный и любимый, а там, пускай он хоть уголь грузит в порту или плавает простым матросом, но только поет всем океанам песни обо мне. Вот что нужно женщине, имей это в виду, глупый Бертран!

Две недели уже, как вышла наша свадьба с Томасом. Он весьма счастлив, и я тоже. Кажется, у меня ребенок тревожится под сердцем. Видишь, как скоро! Это потому, что Томас мой любимый и не оставит меня, а ты уехал колонии искать, – возьми их себе, а я взяла Томаса.

Прощай! Не печалься, а будешь в Ньюкестле – навести нас, мы будем рады. А умрешь – мы заплачем с Томасом.

Мери Карборунд-Рейс».

Перри, не помня рассудка, трижды кряду исчитал письмо. Потом взглянул в огромное окно: разбить его жалко – у немцев за золото куплено стекло. Стол проломить – тяжелой вещи в наличии нет. Немцу в физиономию дать – беззащитное существо, а один из них и так плакал. Пока свирепела ярость в Перри, а он колебался своим арифметическим рассудком, его лютость сама нашла себе выход.

– Герр Перри, у вас рот не в порядке! – сказали ему немцы.

– А что такое? – уже обессилен и чуя грусть, спросил Перри.

– Вытрите рот, герр Перри!

Перри с трудом вырвал трубку из впившихся в нее зубов. А зубы, сжав трубку, так уперлись в свои гнезда, что порвали десны, и из них текла горькая кровь.

– Что случилось, герр? Несчастье дома?

– Нет. Кончено, друзья...

– Что кончилось, герр? Ну, пожалуйста, скажите!

– Кровь кончилась, а десны зарастут. Давайте ехать в Епифань!

5

Путешественники тянулись по Посольской дороге, что через Москву до Казани доходит, смыкаясь за Москвой с Калмиусской Сакмой – татарской дорогой на Русь, по правой стороне Дона. На нее и следовало путникам сделать поворот, чтобы затем через Идовские и Ордобазарные большаки и малые столбы достигнуть Епифани – своего будущего местожительства.

Встречный ветер вместе с дыханием выдувал горе из груди Перри.

Он с обожанием наблюдал эту природу, такую богатую и такую сдержанную и скупую. Встречались земли – сплошные удобрительные туки, но на них росла непышная растительность: худая, изящная береза и скорбящая певучая осина.

Даже летом так гулко было пространство, как будто оно не живое тело, а отвлеченный дух.

Изредка в лесу обнажалась церковушка – деревянная, бедная, со знаками византийского стиля в своей архитектуре. Под самой Тверью Перри заметил даже дух готики на одном деревенском храме, при протестантском постном убожестве самого здания. И на Перри задышала теплота его родины – скупой практический разум веры его отцов, понявшей тщету всего неземного.

Огромные торфяники под лесом прельщали Перри, и он чувствовал на своих губах вкус неимоверного богатства, скрытого в этих темных почвах.

Немец Карл Берген – тот, что плакал в Санкт-Петербурге над письмом, – думал о том же. На воздухе он отживел, возбудился, забыл на время молодую жену и объяснил Перри, глотая слюну:

– Энглянд – это шахтмейстер⁴. Рюссланд – торфмейстер! Верно я говорю, герр Перри?

– Да, да, точно, – сказал Перри и отвернулся, заметив страшную высоту неба над континентом, какая невозможна над морем и над узким британским островом.

Изредка, но изрядно путешественники ели в попутных селениях. Перри пил целыми жбанками квашонку, в которой он нашел немалый вкус и способствование дорожному пищеварению.

Минувши Москву, инженеры долго помнили ее колокольную музыку и тишину пустых пыточных башен по углам Кремля. Особо восхитил Перри храм Василия Блаженного – это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость и – вместе – круглую пышность мира, данного человеку задаром.

Иногда перед ними расстилались пространные степи и ковыльные земли, на которых не было и следа дороги.

– А где же Посольский тракт? – спрашивали немцы ямщиков.

– А вот он самый, – указывали на круглое пространство ямщики.

– А сего незаметно! – восклицали немцы, вглядываясь в грунт.

– Так тракт одно направление, а трамбовки тут быть не должно! Он до самой Казани такой – все едино! – поясняли, поелику возможно, ямщики иноземцам.

– Ах, это знаменито! – смеялись немцы.

– А то как же! – всерьез подтверждали ямщики, – оно так видней и просторней! Степь в глаза – веселья слеза!

– Весьма примечательно! – дивились немцы.

– А то как же! – поддакивали ямщики, а сами ухмылялись в бороду, дабы никому оскорбительно не было.

За Рязанью – обиженным и неприятным городком – уже редко жили люди. Тут шла бережная и укромная жизнь. Еще от татар остался этот страх, испуганные очи ко всякому путнику, потаенность характера и заюленные чуланчики, где таилось впрок небогатое добро.

С удивлением вглядывался Бертран Перри в редкие укрепления с храмишками посредине. Окрест таких самодельных кремлей жили местные люди в кучах избышек. И видно было, что это – новосельные люди. А раньше все хоронились в уюте земляных валов и деревянных стен, когда татары по степному разнотравью достигали сих районов. Да и жил в тех крепостцах все более казенный народ, учиненный сюда князьями, а не полезные хлебопашцы. А теперь – разрастаются селитбища, а по осени и ярмарки гремят, даром что нынче царь то со шведами, то с турками воюет, и страна оттого ветшает.

Вскоре путешественники должны повернуть на Калмиюсску Сакму – татарский ход по обочине Дона на Русь.

Однажды в полдень ямщик махнул кнутом без нужды и дико свистнул. Лошади взяли.

– Танаид! – крикнул Карл Берген, высунувшись из кареты.

⁴ Горнорабочий.

Перри остановил экипаж и вышел. На дальнем горизонте, почти на небе, блестела серебряной фантазией резкая живая полоса, как снег на горе.

«Вот он, Танаид!» – подумал Перри и ужаснулся затее Петра: так велика оказалась земля, так знаменита обширная природа, сквозь которую надо устроить водяной ход кораблям. На планшетах в Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.